

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



# РОМАН №21 ГАЗЕТА

**Анатолий Байбородин / Песня журавлиная моя...**





## БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич

Родился и вырос в селе Сосново-Озёрск Республики Бурятия. После окончания Иркутского государственного университета (отделение журналистики) работал в сельских и областных газетах Восточной Сибири. В девяностые годы прошлого века — преподаватель Иркутского государственного университета (факультет филологии и журналистики). В последнее десятилетие возглавлял издательство «Иркутский писатель», работал главным редактором альманаха народов Восточной Сибири «Созвездие дружбы», исполнительным редактором журнала «Иркутский Кремль».

Романы, повести, рассказы, художественно-публицистические и научно-популярные очерки печатались в московских и сибирских журналах и коллективных сборниках, а так же в Чехословакии, Германии, Франции.

Автор книг «Старый покос», «Поздний сын», «Яко богиню землю нареки», «Боже мой...», «Утоли мои печали» и многих других.

Лауреат Всероссийских литературных конкурсов: «Литературная Россия», имени Василия Шукшина, Большой литературной премии России.



# Следы прожитой жизни

...Группа студентов окружила историка Андрея Фурсова плотным кольцом — его доклад о будущем цивилизации не только просветил, но и заинтриговал сидящих в зале. Писатель Юрий Козлов внимательно слушает доктора филологических наук Олега Мороза — автора монографии, посвященной нашумевшим романам «Колодец пророков», «Враждебный портной», «Новый вор» — все они в разные годы публиковались в журнале «Роман-газета». Литературный критик Сергей Куняев с присущей ему экспрессией обсуждает с профессором из Ессентукского филиала СГПУ Ириной Калус грядущее 200-летие Достоевского. Есть что добавить к теме учёному из Армавира, доктору филологических наук Андрею Безрукову.

Это — «кадры», картинки, моментальные фотографии недавнего события. А ещё — сербские и словацкие народные песни, жаркие споры, обсуждение литературных новинок и будущего планеты.

Интеллектуальное общение — всегда роскошь, а во времена медицинских ограничений и подавно. На стене аудитории — огром-



ный портрет критика Юрия Селёзнева (1939–1984). Выпускник Краснодарского пединститута, он прожил яркую, национально-полезную жизнь. Ныне в стенах его родного вуза, теперь ставшего университетом, проходит уже VIII Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая наследию критика и актуальным проблемам журналистики, литературоведения, истории. Организатор форума — журфак Кубанского государственного Университета. Декан факультета Валерий Касьянов

прекрасно понимает значимость для будущих «акул пера» литературы, истории, философии. Только опираясь на высокое знание, можно вырастить журналистов, понимающих своё дело не как «чего изволите» (информационная услуга), а как общественное служение.

Селёзневская конференция — знак качества в науке. Организация и ежегодное проведение её — огромная заслуга Юрия Павлова, заведующего кафедрой публицистики и журналистского мастерства. Главный редактор жур-

*Окончание см. на 3 стр. обложки.*



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:  
Дмитрий Белюкин  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2021  
Все права защищены

Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-68350  
от 30.12.2016 г.

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные  
индексы издания:**

в объединенном  
каталоге

**«Пресса России»**

**38915** на полугодие;

в электронном каталоге

**«Почта России»**

**П1526** на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2021 №21 /1890/ Основана в 1927 г.

Анатолий Байбородин

## Песня журавлиная моя...

### Озёрное чудо

Валентину Распутину

После Покрова Богородицы — после мягких и влажных снегов, вкрадчиво застывших весь белый свет, утаивших тёмную, молчаливую деревню, — в ясную ночь Соновское озеро вдруг замерзло. Ближе к Димитрию-рекоставу, когда голубоватый месяц сиротливо и знобко плавал в покойничье-белом сиянии, а звезды, омертвелые листья, похрустывали от стужи и сине позванивали, — о такую пору озеро замирало. С вечера бушевало, полоща на ветру сивые космы, выло с пристоном, металось и билось в заиндевелый берег, царапая когтями деревянные мостки, а утром, на тихой заре — чудо. Лёд... Гребенкой замерзали вдоль берега на мели вчерашние волны, махом, на измождённом взлёте вдруг обмирали тронутые ночными чарами, а дальше уже стелилась голубоватая гладь. Инеем светилась увядший приозёрный ковыль, седина укрывала белёсую щетину построжавшей земли...

Ребятишки, едва опомнившись от влажного покровского снега, от садких и жарких снежков, счастливым воплем встречали очередное Божье чудо, смастерённое воеводой стуж. А чудо... на то оно и чудо... вершилось глухой ночью, заглазно от людей, исподтишка, и, чтоб ушлый не узрел, с неба слетал такой сердитый мороз, что избы звенели и постанывали, а коровы в стайках теснее и теснее жались боками, а ребятишки, сомлев у печного тепла, и по нужде-то боялись высунуть нос, чтоб не оставить его на морозном подворье. Ночь же выстаивалась ясная-ясная, прозрачная, как слезинка; видимо, хоть и тайное дело, а несподручно Димитрию-рекоставу вершить Божье чудо впотьмах, вслепую.

Днём же, ближе к полудню, когда с неба веяла ленивая оттепель, горохом сыпала деревенская ребятня из чернеющих изб, катилась с яра на молоденький, звончатый лёд, с которого полуденное тепло слизывало ночной иней и по которому теперь плавали жёлтые, зелёные, буроватые пятна, приливающие от воды, песчаного дна и подводной травы, от синего небушка и реденьких облачков, от ласково засиявшего солнышка. И уже гулял по-над озером, улетал в степь заливиный звон...

Чудо таилось и в ежегодном обращении озера — кажется, вчера купались, рыбачили — в ледяную степь; чудно было и от пугливого, счастливо кружащего голову ощущения, что, словно милостью Божией, бежишь, катишься по самой воде, — столь ещё тонок и прозрачен потрескивающий лёд.

В телогрейках нараспашку, в малахаях, сбитых на затылок или на ухо, из-под которых настырно топорщились пропотевшие, заиндевелые чубчики, катались ребятишки на подошвах кирзовых сапог, катанок, подшитых сыромятной кожей; пихали со всей ошалевшей моченьки друг друга, тискали и, будто нечаянно, будто раскатившись, обнимали и вопили, смеялись от невыносимо распирающего счастья, пели и что-то потешное выплясывали на льду. Во рту пересыхало, сводило челюсти, и под-

кашивались ноги; и тогда, сморённые, валились в кучу-малу, смехом переборов мимолётный испуг, потому что лёд опасно трещал, прогибался, то жалобно, то осерчало звеня, пуская вокруг кучи-малы юркие змейки белых трещин.

Бывало, и проваливались, и купались в обжигающе стылой воде, потом — как мать ворчала! — издыхали, маялись в беспамятном жару, но это случалось редко; озеро жалело ребят даже в их озорных играх... Люди, бывало, не жалели, а озеро... и за двадцать лет жизни в прибрежном селе Сосново-Озерск на моей памяти утонул лишь один хворый парнишка, которого скорчила падучая прямо в воде. Царствие ему Небесное... А вот сосново-озёрские мужики, колышары вином зальют, что белого света не видят, день и ночь различить не могут, — вот эти, бывало, тонули и зимой, и летом. Случалось, под вечер хмельные и ублажённые рыбаками на зимнем неводе — кули мороженых окуней и чебаков гремят в кузове, — с песнями и байками разгонят машину посреди озера да так впопыхах и угодят в полынью, глядя на ночь, прихваченную нежным льдом и утаённую снежным куржаком и порошей. Бывало, грузовик с разгона далеко улетал под лёд, и редко... редко, кто выгребал к полынье... Но и это случалось не всякую зиму — озеро жило смиренно и терпеливо.

\* \* \*

До седой щетины услышу, бывало, песнь: «Школа моя деревянная... Время придёт уезжать, речка за мною туманная будет бежать и бежать...», и слезы притуманят глаза, и тихо вызреет в тумане и моя школа. Узкая, двухэтажная, похожая на чёрный скит, выплывший из тумана веков, красовалась школа на высоком яру, и, когда озеро замерзло, мы, ученики, не накидывая телогреек, всем скопом высыпали на лёд, и школьная техничка, большая, костистая тётка Арина, закалённая в боях с неслухами, яро звонила в медное ботальце, потом ревела до сипоты и даже грозила метлой. Но все без проку. В средних классах после звонка за партами маячили лишь девочки, да и то самые послушные. Тогда на берег гневной ратью выходили учителя с директором; слепли на миг от праздного ледяного сияния и, может быть, помянув свое отрадное малолетство, хотели улыбнуться — губы их мягчели и плыли в улыбке, но учителя тут же спохватывались, вспоминали, что они давно уже не дети, да к тому же педагоги. Директора и некоторых учителей, гораздых при случае открутить ученику ухо, мы побаивались, поэтому хоть и ни шатко ни валко, враскачку, все же выбирались на крутой берег, где нас упреждали, что будем мыть школу, абы знали, огольцы, наперёд, как срывать уроки.

Но учёба в ледяной день волочилась через пень-колоду. Эхом слышу: серчает сквозь пушкинские стихи Пелагея Сысоевна, огрузло стареющая, но ещё по-мужичьи матёрая, крутонравая.

— ...Я помню чудное мгновенье... — грозными очами осаживая егозливых, игривых пареньков, вкочлачивает Пелагея Сысоевна нежную барскую любовь в пропахшие назьмом и озёрным ветром вихра-

стые головы. — Байбородин, успокойся!.. передо мной явилась ты... Тимофеев, сядь смиренно!.. как мимолётное виденье... Машанов, вон из класса!.. как гений чистой красоты... Белобородов, без родителей не приходи... В томленьях грусти безнадежной...

Потом я слышу физику...

— Краснобаев, ты что, смотришь в книгу, а видишь фигу?! Читал, читал, а пересказать не можешь. Беда с тобой... Садись... И чему ты все улыбаешься, чему улыбаешься, я спрашиваю? У меня на лице ничего смешного не написано... Опять улыбаешься, опять в окошко уставился... Ага, ладно... Вот что, дорогой мой... — Я жду: вот она махнёт обречённо рукой, мол, иди-ка ты лучше в коридор, там поулыбайся, и тогда я, счастливо распахнув телогрейку на сопревшей груди, убегу на лёд, и в душе моей уже ликующе играет молодой лёд, но физичка насмешливо велит: — Иди-ка, Ваня, к доске, поулыбаемся на пару, а то, я гляжу, больно улыбчивый стал...

Но какая доска-тоска, какая физика, прости Господи, когда сияет в душе синий лёд, когда перед обмершим взором выстилается, заманчиво сверкает и зовёт... зовёт раскатистым звоном ледяная степь, где на облысках вот-вот взвизгнут беговые коньки «дуты» и «норвеги», и нету... нету моченьки слушать законы про несчастные тела, которые в воду погружают, сжимают, нагревают, а то и похлеще — расщепляют. К тому же в окошко невпопад, по-апрельски улыбчиво светит солнышко, от его угрева долит в сон, и голова смиренно клонится к парте с густо закрашенными к осени фиолетовыми чернильными пятнами и варначьими письменами; а учительские слова, не проникая в голову, назойливой мухой жужжат и кружат под потолком, затем кутают, словно стёганым одеялом.

Спать охота... бежать на лёд охота.

\* \* \*

Кажется, лишь дети, и чаще деревенские да редкие взрослые, милостью Божией в утаённых заводях души уберёгшие детство, могут сладостно и нетерпимо, с шемящим и певучим счастьем ощущать, потом запальчиво или пронзительно грустно переживать времена года, их сказочные межи. Вот межа по-сентябрьски жёлтая, с небесной просинью, когда уморённая, огрузло зелёная листва жухнет и облетает, когда душа человечья, уже не сдавленная суетной летней плотью, полегчавшая, по-осеннему сквозна и проглядна, и готова, кажется, вот-вот повеяться к небу; а вот ядрёно хрустящая от мороза, синевато печальная, снежная межа, где сугробы, словно чистые и вымороженные холсты твоей души, где рябиново засияют святые письмена; а вот межа, обрызганная мелким вешним листом, похожим на ангельский смех малого чада, в ожидании счастья отпахнувшего ясные глаза к Божьему свету. И за всякой межой, чудилось в детстве, нас что-то благостное поджидает, и перемены в небе, в лесу, на озере, в поле и нам сулят дивные, похожие на чудо перемены.

Но с вечерней паутиной у глаз и довременной усталю чужешь, что и радость-то вся, и душевное об-

мирение лишь в трепетном, нескончаемом ожидании, после коего приступает все та же суетная пустота. И жаль, что уже ничего не ждёшь, что напоминало бы душе о чуде; жаль, что глаза, окутанные серой житейской мглой, приослепли и уже не видят, как выжелтели листья и посыпались... посыпались сквозь осенний туман на инистую, построжавшую землю; а вот и покровский снег, густой и тихий, обряжает землю на долгий зимний сон, а вот и стылая бледная ночь в серебристой россыпи звёзд, когда озеро вдруг замерзало...

Проглядев, пропустив между, лишь бездумно отметишь в сознании перемену земли, незряче глядя в заснеженный березняк, в синеватую ледяную пустошь, и грустно, и совестно, и тягостно на душе, словно нечаянно слился взглядом с чистым, глубоко в тебя проникающим, терпеливо ждущим детским взором, будто сам Отец Небесный печально всмотрелся в тебя... Утпукив глаза в землю... нечем ответить ясному взору, сквозняком гуляет в душе тоскливая пустота... и, ссутулив спину, болезненно сморщившись в ненависти к себе, поспешишь в крикливое и пёстрое многолюдье, чтобы забыть о недавнем стыде, заглушить его невнятным бормотанием голосов, мельканьем стёртых лиц и мимолётных ощущений, утопить в житейском суетном азарте и не мучиться больше. А мимо, не печалю и не радуя, поплывут по небу, по березнякам и лугам, по озёрам и речкам вековечные времена года, сказочно обмирая на чудесных межах.

\* \* \*

В детстве, из осени в осень дивясь озёрному чуду, стеснялся я ликовать прилюдно, чуял себя старше своих подростковых лет... А помню, ложился на лёд и подолгу разглядывал омертвело притихшую после октябрьских штормов воду, потом — замершие в чарах изумрудные ветки шелковника, бурые, долгие листья шучьей травы и облепленные тиной ракушки с отпахнутым зевом и намытым песком.

И чудно было видеть на иллистом дне бархак — камень, обкрученный проволокой, который мы спускали с лодки заместо якоря и который однажды на свирепом, сполошном ветру, на взъярённой волне, когда лодку безжалостно тащило, то ли сорвался, то ли отвязался — известны ребячьи узлы, — и мы не могли нашарить бархак ногами в поднятом и взбаламученном иле. А и глуби-то было цыпущке по голень... При виде запропавшего бархака с грустной улыбкой поминались канувшие в воду, а ныне всплывшие к самому льду, беспечные и шальные летние денёчки, слитые в один, осиянный утренним заревом, азартный день; так же слитно поминались бесчисленные рыбалки, и даже всего встряхивала вдруг быстролётная, сладкая и обморочная дрожь, словно опять тянешь из зелёной пучины матерущего окуня, и, вспарывая воду, жалобно, на последнем пределе звенькает жилка, чуть не до крови режет ладошки, исходящие тряской... И вот он, вот он, темнеет спиной у буро смолённого борта, не окунь, дивушко озёрное, мхом и тиной поросшее; вот он, вот

он, миленький... ой!.. мамочки родны, а крупный-то чо-о!.. ма-ама-а, с полвесла!.. хоть бы не сорвался, хоть бы... у-у-у!.. гад, сорвался!.. от окунише был, дак окунише!.. такого уж сроду не выудишь!.. метровый почти, и как ещё жилку-то не оборвал?! гли-ка, паря, даже крючок маленько разогнулся...

Явившись на глаза, летние денёчки, рыбалки на утренней заре и ленивом закате тают в осеннем тумане и кажутся далёкими-предалёкими и невозвратными, и хочется плакать.

*Отчего же мы плачем о детстве всю свою непутёвую жизнь? И отчего же детство, зябко съёжившись в душе, сиротливо покидает нас? Отчего же оно не с нами до земного края, за которым, кажется, уже вечное детство?*

Летом мутное, взболтанное волнами, зимой озеро родниково выстаивалось — видно и на большой глубине до илистого дна, до краплёной ракушки, и осенний лёд под стать воде выстилался прозрачно-голубой, и корова, сдуру выехав передними копытами, раскатываясь, удивлённо и глуповато пучилась, тыкалась мордой в лёд, желая напиться, но, ничего не поняв коровьей башкой, с грехом пополам выбиралась на берег и обиженно мычала. Мычала до тех пор, пока сорванец, пригнавший корову поить, да и, катаясь на льду, забывший про неё, не спохватывался и не приносил ей воду в ведёрке, перед тем на скорую руку выдолбив топором первую прорубь.

Смотреть сквозь лёд можно было вечно, и манила, манила подводная тишь и неземной покой; мимолётно и горько виделся родимый дом, хмельной и безрадостный — прости всем, Господи Милостивый! — и пуще хотелось укутаться подводной тишью, уснуть в прозрачном, чуть слышно поющем грустном покое. И чем дольше я смотрел сквозь лёд, тем явственней и тревожней наносило пронизывающей замогильной печалью — чудилось, всё, померло озеро, укрылось ледяной домовиной, и печаль чаровала, привораживала, хотя живое и тёплое во мне противилось стылой манящей силе, и так хотелось, чтобы вода ожила юркнувшим краснопёрым окунем или взблеснувшим чебачком, чтобы колыхнулся зачарованный шелковник; но сопротивление моё было слабым, вялым, поэтому вода и не оживала проплывающей рыбёшкой, а подводная трава, словно уже омертвелая, не колыхалась; но ведь чуял же я, чуял: пожелай в полную душу, пожелай нестерпимо, и обязательно качнётся шелковник, потом из его сочно-зелёной чашобы тихо выплывет степенный окунь. Но я ничего не желал, желания смёрзлись... я дремотно погружался в стылые, мёртвые воды... и вдруг охватывал страх перед чарами вечного сна... и, очнувшись, я в испуге откидывал голову, с трудом поднимался, чуя цепкий холод во всем теле, потом шёл по льду, неверно и вяло переставляя ослабшие ноги, будто переболел и чудом выздоровел.

Кружилась угарная голова, и чары ещё не выветрились на озёрном ветру, и я с тревогой силился припомнить, что же привиделось в упокое прозрачно-

зелёной воды?.. что наплыло к расширенно замершим, то ли видящим, то ли невидящим глазам?.. что нашепталося ушам, в оцепенении чутко скрадывающим в кромешной тиши протяжно манящие голоса?.. Но вспомнить ничего не удавалось, а когда память напрягалась и вытягивалась назад во времени и, затаившись, вслушивалась в себя, когда чудилось, вот-вот прозвучит ответ, перед глазами начинает проявляться водянисто-голубой, размытый лик, ещё неразборчиво погудывает, глухо рокочет далёкий-далёкий голос... тут же, словно с петель, перед памятью срывались тёмные ставни, перед глазами все меркло, в голове мутилось, позванивало эхом дальнего голоса, а в виски стучала глуховатая боль...

Ощущение было счастливым и жутковатым — все в тёплой, живой сути противилось странному и манящему видению, но и влекло к нему, охватывая ледяным, чистым холодом, который, чудно подменившись, казался уже и не холодом — теплом, ласковым и желанным. Боль в голове стихала, и было непривычно легко, словно прозрачная вода пролилась сквозь меня, вымыв тяжёлый илистый нанос.

Хотя я и брёл к берегу, но всё во мне было ещё заморожено, не готово к жизни, особенно — глаза, ничего не видящие перед собой, не видящие соседских ребят, счастливо гомонящих на льду и, кажется, зовущих меня; крики и смех, как сквозь лёд, доплывали глухо, ослабленно, да я, оберегая в себе озёрный покой, и не пытался разобрать крики, а, подальше обходя уличных дружков, молил, чтобы никто не кинулся ко мне весело тормозить, потому что с болезненным страхом казалось: толкни со всего пылу — и всё во мне тут же рассыплется ледяными острыми осколками.

\* \* \*

Тут уж, горько не горько, а сознаюсь как на духу, что маленьким я за версту обходил гомонливые ребячьи игры, словно умудрился наперёд своих малых годов; да и заполненные игры на лесах сохнувшего сруба либо на льду или приозёрной горке — с берданами из осины и берёзовыми мечами да саблями — игры эдакие нередко вершились спором, дракой и красной юшкой из носа; а драк я, смиренный телок, боялся пуще огня. Бог весть, отчего и когда угарным жаром вдохнулся в душу мою безумный страх: может, хмельной и буйный родич напугал, когда я, титёшник, качался в подвешенной к потолочной матице берестяной зыбке, как на зыбистой волне; а может, страх загнали в меня, малого, крикливые мужики и бабы, о Святки ряженные в бесовские хари, пляшущие, как нежить на Лысой горе?.. Словом, драк я страшился, а при виде людской крови чуть ли не бился в родимчике — внизу живота сосуше и больно сжималось, начинало всего колотить частой и видной глазу дрожью; и ничего я не мог поделаться с собой, хотя и стыдно было, и противно от сознания страха и бессилия перед чужим грубым напором.

Но, как ни крути, ни верти, а драться доводилось — на то и озорное озёрное детство, — вернее, угощаться: кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки. Хотя — обидно, смешно и грешно — Бог

смаду не обидел силушкой, и в пятнадцать лет я мог любого сверстника забороть, но бить в лицо, в живые испуганные глаза... словно плюнуть в икону Божью. Бить рука не подымалась. А ведь тешился пудовыми гириями, играючи метал и жал двухпудовую, да, похваляясь перед соседями, азартно таскал с озера трёхведерные бидоны с водой. Взвалив на загорбок, бахвально волок полторы версты, отчего, дурак, и не вырос, в корень ушёл, коренастый, навечно продавился цинковым бидоном к матушке-земле, отчего и смахивал на малую подворотную дворяну, породистая башка которой словно прилажена от большой и путней зверовой лайки.

И вот сейчас я боялся: нагонит шумная ватага, кинется, повиснет, начнёт тормозить, зазывая побороться, повозиться на звончатом льду, и с маетной болью сломается, искрошится во мне синеватое, печальное ощущение неизъяснимого и наслаждающего покоя, размечется моё одиночество, породив отчаянную ярь.

Так уже вышло на краю осени и полыхнуло дракой; зло охватило, словно вырвали из рук... из души... с зычным хохотом сломали, ископытили то, что нежил в детском схроне и стеснительно прятал от чужих глаз. Бог весть, во что бы скорчилась драка, какого бы страха и боли натерпелся, но слава Те, Господи, озеро — первый хрупкий лёд — выручило меня, свершив спасительное чудо.

\* \* \*

И в дождь, и в зной, и в стужу деревенская ребятня всякий вольный час крутилась на озере; и уж для драк тут выгадалось самое подручное поле, заслонённое от деревни и взрослого догляда крутым яром, тесовыми заборами, тынами, амбарами и банями. Так и ревели, брызжа слюной в лицо соперника, когда задирали, а на говоре братвы — заедались, рыпались: «Но чо, пала, айда на озеро... выйдем...» А уж на озере брань вершилась по извечным крепким правилам: мутузили друг друга с корявыми матюгами до красной юшки, потом братва разнимала тряских, взьерошенных петушков, посмеиваясь над их заполосными, сквозь слезы, матюгами: «У-у-у, бля, на хел!.. попадесся, сюка... салаги загну, лен сверну, суючий потрох...» Победного одобряюще хлопали по плечу, а бедного, бредущего восвосяси со слезами и расквашенным носом, осмеивали, хотя и жалостливо советовали задрать башку к небу, остужая жаркую переносицу снегом, чтобы унялась кровь.

Как огня страшась драк и позабыв гордыню, унижался я перед варначьем, но и мне, девятикласснику, довелось испятнать своей кровью голубоватый лёд... Бриткие на язык, выдумывая срамные прозвища, назойливо потешались над моей бабьей полнотой, что принесла мне в отрочестве столь горя и слез. Не умея отшутиться, мучительно терпел я насмешки, ладил безразличный вид на лице, багровом от стыда и обиды: дескать, меня ваши убогие шутки не колышут; это я в себе с дрожью бормотал, себе внушал, ибо возмущаться — масла в огонь плеснуть, чтобы пламя занялось ярче и спалило душу дотла.

Дразнили обычно три отпетых и здоровенных быка-второгодника, истомлённых в учении, по которым уже слезами уливалась тюрьма; другие же подпевали... подсевали — их так и звали: подсевалы; одни подсевали, абы школьную скуку развеять да заради сладко щекотящего нервы жуткого зрелища, другие из угодливости перед архаровцами, чтобы самих не трогали. Вот эти второгодники-то мне всю плешь и проели насмешками, выдумывая клочки фамилию Байборodin на Бабуродил. Ишь чего, лоботрясы, измыслили от скуки... А тут ещё и подлизой стали дразнить: из-за меня не удалось сорвать литературу, чтобы ринуться в кино.

На перемене, когда уже пепельно мерк короткий послепокрывский день, хитромудрый второгодник, топая с парты на парту, выкрутил и обратно вкрутил две засиженные мухами, пыльные лампочки, перед тем напихав в патроны клочки тетрадного листа. Обесточил, обессветил классную светёлку, когда явилась молодая литераторша.

Безжалостным ветром занесённая из города в озёрную, степную, таёжную глушь и сменившая грозную Пелагею Сысоевну, тихая Серафима Ивановна, заглазно величаемая Симой, вошла в класс и напуганно застыла у двери, озарённая светом из коридора. Робко щёлкнула выключателем раз, другой, третий — лампочки так и не загорелись.

— Неужли обе лампочки перегорели? — удивилась Серафима Ивановна. — И что же нам делать, ребята?... Директора нет, завхоз ушел...

Братва с гомонливым нетерпением ждала, когда Сима обречённо вздохнёт: «Ну, что ж, литература отменяется...», чтобы с воплем — уррра! — кинуться сломя шею в кинотеатр «Радуга», где казали киношку о войне. Невольно помянулось мне давнее: пришёл директор школы и устало выдохнул:

— История сегодня отменяется...

Взревела радостная братва:

— Уррра!.. В кино, робя!

И мало кто сквозь рёв услышал:

— ...несколько часов назад умер...

Потом долго саднила вина перед старым, больным, искалеченным на фронте историком, что, закатывая очи к потолку, не бубнил как пономарь на клиросе, но воспевал: «О Русская земля! уже ты за холмом!.. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою речь говорили, собираясь полететь на добычу...»

Стыдно было перед усопшим историком, но... память заплывчатая, вина забывчивая.

И ныне ученички нетерпеливо ждали, что Сима отменит литературу, что не будет терзать, спрашивая невыученное, невнятное малому и шалому разумно: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, — как слезы первые любви!..» Однако же Серафима Ивановна решила сумерничать с нами, впотьмах читать свои любимые стихи, вроде: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...», но тут архаровцы, стоящие на головах, под-

няли жиганий свист и рёв — святых выноси, и литераторша смекнула, что затеялось дело нечистое и лукавое, что неспроста лампочки не горят, если в школе свет. Заискиваяше, словно милостыню, попросила глянуть лампочки... не могли же все махом перегореть... но не пробился сквозь базарный шум и гам её голос, ещё не закалённый, не окрепший до учительского рыка; тогда она, растерянная, подошла к моей парте, глянула... и мне в сумерках увиделось или привиделось, что глаза ее светились слезами.

Серафима Ивановна откровенно и ласково выделяла меня из братвы — к чтению я смалу привадился, а начитавшись, сам втихаря бредил стихами, подражая Некрасову: «О Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я... Один на утренней заре, когда ещё всё в мире спит...» Вспотевший от волнения, терзая тряскими пальцами заветную тетрадку, сунул ей свои стишки; Серафима Ивановна, прочтя их, подивилась — на вид вроде деревня битая, а вдруг стихи, — и, не растратившая пыла и учительского азарта, не спаленная тихой ненавистью к нам, бедовым ученикам, нашла во мне своё утешение.

Бог весть, с каких небес пали в мою душу зерна книжного пристрастия, не привечаемого моей кулацкой родовой, — пропахшими конским потом степными скотогонами и коновалами да провонявшими рыбой с душком озёрными рыбаками?! К тому же матушка заместо росписи малевала наслонявленным химическим карандашом хилый крестик — вот и вся её бабья грамотёшка, а батюшка прошёл четыре класса церковно-приходской школы, откуда вынес в памяти лишь клочки Четых-Миней про жизни святых. Родители мои шибко серчали, когда я запойно читал: мать страшила моя книжная хворь, мать боялась, как бы я не сдурел с ума; отец жалел свет — денег стоит — хошь керосиновый, хошь электрический, при котором я читал; отец ворчал: мол, за книжки ухватился, а стайка коровья не чищена, дрова не колоты, воды в кадлушке на дне.

Словом, чтиво мои родители не жаловали, а потому лияли на солнцепечных подоконниках и ершились в этажерке лишь потрёпанные, залитые чернилами ребячьи буквари да азбуки. В школьной и деревенской библиотеке книг мало, кот заплакал, и я стал брать их у Серафимы Ивановны, нет-нет, да и роюсь в её домашней библиотечке. Помню, она даже подарила мне сказки Бажова с дивными таёжными картинками, и я берёг сказки как зеницу ока, совал под подушку, потому что... потому что, на беду и горе, ещё и влюбился в молоденькую, не по-деревенски опрятную, ласковую литераторшу. Иногда даже гадал: не по этой ли причине я и к литературе приохотился, стал книжным пареньком, книгоцеем?..

И вот Серафима Ивановна рядом с моей партией, я, опустивший голову, слышу ее прерывистое дыхание, чую на затылке её просящий взгляд; я страдаю, я боюсь архаровцев, тем более, до меня уже дозмейся остренький шепоток: «Попробуй только!.. Пожалейшь потом...»

Тут Серафима Ивановна попросила меня глянуть лампочки; и когда я услышал ее обиженно подраги-

вающий голос, не вытерпел и полез на парту, хотя и смалу рос зашуганным и робким. Деревянной ручкой выудил бумагу из одного патрона, из другого, и свет загорелся. Серафима Ивановна не пыталась, кто измыслил пакость, но я уже весь урок беспокойно ёрзал на парте, будто в штаны мне сунули свиной щетины; я чуял натуженной спиной сверлящие и ничего доброго не сулящие взгляды архаровцев, я страшился конца урока, когда грянет расплата на мою бедовую голову. Кроме сердобольных девчонок, все по-волчьи, зелено и прищуристо, зыркали на меня, предателя и подлизу. И слава Те, Господи, после урока подвернулся крепкий старшеклассник... летом мы на пару удили окуней на озере... Подле него и убрёл я до дома целым и невредимым.

\* \* \*

Туманным осенним утром плелся я в школу, как на каторгу; и под стать моему страху скупое и неласково светило полуденное, предзимнее солнце. Возле школьного палисада, где сиротливо зябла чахлая берёзка, безмятежно каталась на снегу, ворожила тепло игренева кобылёнка — рыжая, с молочной гривой и сивым хвостом.

Встретили меня с весёлой злорадностью: мол, влюбился в Симу, а тут прибежал с молотком ейный мужик, учитель столярного дела, и грозился, что такую тебе любовь покажет, не возрадуешься. Ревнивый шибко... Отбойные второгодники посулились устроить мне «тёмную» за то, что не дал сорвать урок литературы. Но самое горькое, горше не удумать: к ним подпарился и мой заветный дружок Игорюха Гантимуров. Сгущались грозовые тучи над моей несчастной головой... Затравленно вжимался я в парту, а Игорюха за моей спиной весело зубоскалил, выдумывая мне прозвище за прозвищем, одно чуднее и обиднее другого.

Учился тот на круглые пятёрки — сын рыбзаводского бухгалтера, есть кому подсобить, если сам не толмачишь в алгебре; не моя беда, коль матушка и расписаться не умела, а отцу в гульбе и подворных заботах-хлопотах было не до алгебры с геометрией. Да и что он мог подсказать со своими четырьмя церковно-приходскими, разве что «Отче наш»... Отец Игорюхи забил книгами сервант в ребячьей комнате, и дружок мой в ночь-полночь, с фонариком под одеялом — родители сурово блюли отбой — читал про индейцев, про жуткие морские приключения пиратов, которые потом бойко пересказывал в школе, ладя жуткие хари, махая руками, словно в них пистолы, палаши и кинжалы. Разиня рот слушали мишкины-книжкины бывальщины даже отпетые второгодники и лишней раз не задирали.

...Я вошёл в класс на большой перемене и сразу почувствовал неладное, касающееся меня: возле окна, за которым снежное сияние, весело гомонили девчонки и пожеребьячи ржали лоботрясы, а поверх шума-гама куражливо ёрничал Игорюха: раскрыв... мою!.. тетрадь, обморочно закатывая глаза, даже не читал, а завывал:

— Тихо двери притворила, красотой своей маня, и ресницами укрывла с головы до пят меня...

Я понял, что Игорюха вышарил из моей школьной побирушки тайную тетрадь, куда я записывал отроческие мысли и переживания, ходовые стишонки про любовь и разлуку, изукрашивая листочками-лепесточками, витиеватой изморозью, губастыми и бровастыми девами, парящими орлами и летящими чайками. Вот ведь: от всех таил, а заветному дружку, на свою беду, читал клочки из потайной тетради...

Не помня себя, с пеной у рта ринулся я на предателя, хотел вырвать тетрадь, но тот перебросил ее, словно мяч, приятелю; я — к тому, но он кинул дальше...

И тогда я с диким рыком налетел на бывшего друга, сгрёб в беремя и повалил на пол. Такая свирепость меня охватила, что при недетской силушке мог придавить бухгалтерского задохлика, как таракана запечного, но тут приспела братва, растащила, велела идти на озеро и драться по исконным правилам.

...Долго мы с Игорюхой, два кочетка, прыгали друг возле друга, по-бокёрски вертя руками, долго и настоятельно похаживали на заиндевелому льду, косились побелевшими от злости глазами, но все не решались начать: сызмала вожжались и на рыбалках с ночевой спали под одним тупом, прижимаясь спинами для согрева... Но и отступать было некуда: тесно сомкнувшись в круг, братва подначивала боевыми криками, взяв сторону моего врага:

— Дай ему, Игорюха, по соплям! Дай!.. Ишь, благородная отрыжка... — И так меня дразнили. — Возьми его на калган... бошкой, бошкой!.. Чтобы кровь из сопатки...

Нас нетерпеливо пихали в спину, азартно толкали друг на друга, потому что злоба наша пошла на убыль, и мы кружили, вроде принаравливаясь, с какой руки ловчее засветить плюху, а, сказав по совести, вытягивая время, надеясь поладить миром.

Мы похаживали со звериной вкрадчивостью, исподлобья косясь друг на друга, словно два бодучих телка — прорезались рога и больно чешутся, но мало отваги; и чем дольше и нерешительней мы топтались, тем меньше у меня оставалось обиды, потом она вдруг заслонилась жарко нахлынувшим трясским страхом, — маетно было ждать, когда гантимуровский острый, костистый кулак пулей врежется в моё лицо... А я уже не чуял в себе духа ударить и потому заплотшно молил Бога, чтобы все обошлось без драки. Пусть бы обозвали трусом, лишь бы кануло висящее над головой мучительное и затяжное ожидание боли, похожее на смерть. Ждать всегда маетно — легче, когда вдруг, неожиданно, пусть из-за угла, пусть в спину, чтобы в горячке от мгновенной жаркой боли не успел перепугаться.

Истомлённая ожиданием братва всё злее и злее пихала в спину, и наконец один из отбойных, терпение которого лопнуло, вдруг со всего маха, смачно вlepил мне в ухо, я с криком обернулся, и тут же от садкого удара померк свет в правом глазу, потом в левом, боль обожгла губы — это уже дружок отпочтевал... Выпучив глаза, ревушим смерчем обрушился я на Игорюху, сбил с ног и, придавив огузлым телом, стал душить... Парнишка захрипел, побелевшие глаза закатились... Я ничего не помнил, кто-то пи-

нал меня, кто-то отрывал от Игорюхи, и ревущая братва повалилась в кучу-малу...

Бог весть, чем бы драка завершилась, но вдруг грозно и властно рыкнул лёд под нашими телами, вогнулся, с грохотом раздался, и мы, обеспамятев от ледяной воды и страха, вдруг очутились в озере, где и остыло моё ярое безумие.

Мы, как щенята, брошенные суровым охотником, барахтались в полынье и, не чуя ногами тверди, запыльно цеплялись за кромки льда; а лёд ломался, крошился под мельгешащими руками, зимняя одёжа набухла водой, отяжелела, тянула ко дну...

Богу ведомо, как я выбрался на крепкий лёд, и только Игорюха ещё отчаянно и бестолково колотился в полынье, с перепугу ничего не видя вокруг себя.

Я быстро очнулся от мимолётного страха — озера я боялся меньше, чем людей, с озером мы жили в ладу, а потому, вдруг припомнив картинку из «Родной речи», на брюхе подполз к полынье и протянул руку, за которую Игорюха поймался мёртвой хваткой. Не видящие, побелевшие глаза тонущего округлились, по краям обметались кровью, узкие губы стали ещё тоньше, змеистее, посинели и ходили ходуном, жадно хватая морозный воздух, а вокруг него в полынье билась и глотающе плескалась ледяная шуга.

Почему Игорюха так перепугался, хотя с таким жарким блеском в глазах, яро брызгая слюной, ведал нам, ребятишкам, вычитанные приключения морских варнаков, а когда слова казались вялыми, бесильными, подпрыгивал и раскачивался, вроде метался по корабельной палубе, и со свистом пластал воздух кривой и невидимой саблей, будто не вычитал похождения пиратов, а пережил на своей шкуре?

И вот я тянул пирата, уже вяло толкущего ледяное крошево, но тот не поддавался из полыньи, лишь крушил грудью острый край, затягивая меня в озеро; и благо, что сметливый паренёк пал на лёд и, ухватив мои ноги, потянул... — так в одной связке мы и вытащили Игорюху. От телогреек, штанов валил густой пар, но, прихватив морозцем одежонка стала коробиться, леденеть, а когда мы хлёткой рысью припустили к деревне, штаны наши гремели и шоркали ноги до саднящей боли. Мы бежали, напрочь забыв о недавней вражде, и про себя, без слов, одним помыслом благодаря озеро, что легко отпустило, не отправило нас, грешных, на корм рыбе; мы бежали не всяк сам по себе, а братчинно слитые, родные после невольного крещения в ледяной воде, после пережитого страха. Мы спаслись братьями и не своевольно, и не по воле озера, а по власти Свыше, пожалевшей нас, непутёвых.

\* \* \*

Сейчас я был наслаждающе одинок. Припекало чисто весной; влажно светился лёд, а снег на приозёрном крутояре слепяще искрился под ярким, но не жарким солнцем; белый свет плыл перед глазами цветастым миражом, кутал сладкой дрёмой, и хотелось распахнуть пошире телогрейку, снова увалиться на лёд и, вольно разметав руки, вечно глядеть, но уже не в тайные и тенистые озёрные воды, а в небо, и гля-

деть, пока не явится полное ощущение полёта в сизом поднебесье. Домашняя, школьная жизнь казалась скучно придуманной или явившейся в хлопотливом и рваном, изнурительном сне, а нынешняя жизнь — жизнь без унылых переживаний и мятежных хлопот, будто парящая в синеве на тихих крылах ласкового блаженства, — чудилась взаправдашней и вечной.

Когда я уже брёл к береговому яру, сладостное оцепенение потихоньку улетучилось, потому что, выветривая из души тишь и пугающе приманчивый, словно вечный покой, шало загулял по тоненькому льду удалой перезвон — озеро, очнувшись от задумчивого обморока, звенело и гудело, отдаваясь эхом в поднебесье, словно вода на озёрной серёдке билась в лёд, как в церковный колокол, но не скорбя и не печалась, а радостно дивя Божьим чудом. Озеро обновленно воскресало, кололо полыньи для жадного, могучего дыхания и городило белые хоромы торосов. Не дойдя до берега, снова удивлённый праздничным гулким перезвоном, подхваченный его тугими волнами, я круто развернулся, сослепу чуть не сбил с ног тётку с подойником, в котором она несла воду для коровы, и побежал по льду наперегонки с летящим звоном.

Дивя село, озёрный звон творил страстные, перебористые коленца, окатывал деревню протяжной, по-ледяному прозрачной мелодией; синеватыми волнами плыл по белёсому воздуху по-над деревней, утонувшей в пушистых снегах; и прихватит, бывало, парнишку на скотном дворе, возле распахнутой, парящей коровьим теплом и обмётанной снежным куржакком стайки, обомрёт парнишка, опустит вилы с навильником сена, займётся его сердчишко, полыхнёт зоревым переливом, и не успеет душа отойти, улечься, как гулко проплеснётся сквозь неё туго налитая мелодией новая волна перезвона, уплывающего за поскотину, в степь, к березняку, чернеющему вороньими гнёздами. Далеко по степи летает озёрный гул, и неведомо, где тает, где ложится на сухой заснеженный ковыль, ворохнув его своим ветерком.

— Играет ледок... — загнав топор в ошкуренное и окантованное бревно, промолвит ладный старик возле свежего банного сруба и почешет в потном затылке, сдвигая на глаза шапку; потом присядет на сосновый чурбак, затихнет, подставив ухо праздничному озерному благовесту, и, смущенно улыбаясь, подмигнув сам себе, прибавит: — Играет ледок — ворожит Митря холодок.

И верно, сразу за Дмитрием-рекоставом оживали жгучие дымные холода. Дмитриев день — зимушка летит на плетень. Лед крепчал, толстел из ночи в ночь — верно, что наложило Введение на лёд толстое леденение; а уж после... трещит Варюха — береги нос и ухо. Но, опять же, к Благовещенью шука колола лёд могучим плеском — обрыдло ей лежать сосновой кокорой в глухом илистом улове, да и тяжело дышать под разбухшим льдом, вот она и саданула матерым хвостом. Мне грезилась замшелая шука — рослая, неповоротливая; а когда слышал гром ледовый и видел вспыхивающие на синеватых зали-синах белые морщины, воображал ее мощный, литой хвост, что коротко и садко хлещет изнутри лед.

Ледовый гром с долгими звонами и мелкими перебивками, празднично, с молодым, взалхлеб ликованием отметив край осени, показав изножье зимы, тихо гас, не гулял вольно, а в один из дней и вовсе пропал, чтобы не стать привычным, чтобы у деревенских ребятишек ужилось в душе благостное чудо. После Благовещенья лишь изредка студёными ночами, когда деревня обмирала, сжималась от стужи, когда затягивалась и становая полынья, озеро вдруг просыпалось, одышливо ворочалось в своей душевной зыбке под низко нависшим, огрузлым, ледяным пологом, потом, неторопливо собрав силёнки, далеко отведя упругий шучий хвост, било им на полную отмашку в лёд, и полынья с громовым треском вновь распарывала озеро, заголив среди торосов густо-тёмную, серебристо-мерцающую в неведомых отсветах, парящую воду.

Над спящими избами, с натугой одолев околземную густую темь, растратив голос, хрипло и неспешно прокатывался сердитый рокот. Проснувшись среди ночи, я слышал его, но внимал уже без осенней счастливой оторопи, без дивления; мы, ребятишки, уже томились в ожидании вешнего чуда, когда серый игольчатый лёд отчалит и отпахнется в заберегах живая вода, заплещется игривой рябью, суля близкое купание и рыбалку. Уже не в силах ждать, когда озеро полностью откроется, спихнём мы непроконопаченную и непроваренную, текущую лодку, чтобы, отталкиваясь шестом, поплавать в бесчисленных среди льда лагунах...

Но пока ещё было далеко до майского дива, пока ещё избы потрескивали, пощелкивали от крещенской стужи, пока ещё снилась нам зеленая летняя вода под палящим солнышком, призрачно скользящие по озёрной глади остроносые лодочки и приветно машущие крылами белые чайки.

1983—2005

## Братчина

### Рассказ

На туманном и стылом закате жизни Елизар Калашников, заштатный профессор истории, поминал далёкое, говорливое, хмельное студенческое застолье на морском валуне; вспоминал и поражался: уже на рассвете восьмидесятых жарко спорил с однокурсниками о том, что в окаянные девяностые годы обрушилось на бедные русские головы...

Под линиялым, безоблачным небом призрачно серебрилась рябь рукотворного Ангарского моря, белела опалённая солнцем бетонная дамба, где чайками посиживали купальщики и купальщицы, где изрядно устаревшая, заморская певчая ватага «Бони М» надрывала лужёные глотки: «Варваррра жарит кууур!..» Скользили на водных лыжах парни и девичьи, вспахивая море, оставляя долгие борозды, пенястыми бурунами бегущие к берегу; и плыла вдоль побережья, красуясь и похваляясь, белоснежная крей-

серская яхта с белыми парусами, а на палубе люди в белом ублажались музыкой: отчаянно голосил о ту пору уже полузабытый итальянский парнишка Робертино Лоретти: «Чья ма-а-а-айка?.. Чья ма-а-а-айка?..» Деревенские мужики, недолюбивая Никиту Хрущёва, почитая тогдашнего главу государства за бестолочь, посмеивались, де, ловко Никита песню перевёл: «Чья майка?.. Чья майка?..»

Истекли хмельным соком спелые семидесятые годы; родились восьмидесятые... Счастливые — хоть и начитались до одури, но свалили, не завалили сессию, — гулевые студенты-историки пировали у рукотворного моря. Не завалили, да и кому заваливать, ежели к морю, упарившись на сессии, сошли студенты, что по знанию могли иного доцента за пояс заткнуть.

Отыскали поляну, воистину выпивальную, утаённую от спящего солнца и гомонящего пляжа, — глухим и тенистым плетнём обнесли поляну кусты боярки и черёмухи, и море голубело сквозь узкий просвет, словно ветром отпахнулась калитка; а посреди поляны — старое костровище с тремя сухими валёжинами, что неведомо как и очутились на безлесном морском берегу.

Над боярышником, правда, торчала статуя Ильича с голубыми на лысине; статуя неодобрительно косилась на пьющих комсомольцев, но, ёрники, лишь посмеялись над Ильичом, вспомнили: катишь на троллейбусе через плотину, и перед управлением ГЭС есть место, откуда Ильич выглядит похабно...

Помянув пару анекдотов про Ильича, пять добрых молодцев, азартно потирая руки, оглядели поляну: есть на что сесть — валёжины, а на чем пить?.. тут же волоком и катом втащили на угор плоский валун, ловко угнездили на старом костровище — столешня, постелили газетки, накроили хлеба, холодца и ливерной колбасы, чтоб занюхать, выставили дешёвенькое пойло: «Листопад», портвейн «777» в большой и темной, «противотанковой» бутылке, и «Агдам», по прозвищу «Я те дам!».

И вдруг выяснилось: забыли в общаге гранёные стаканы, а коль пить из горла дурно — худо-бедно, пятикурсники, не мелюзга, — отыскали возле пустых лежбищ и стоянок жестяные банки, отшоркали песочком, омыли морской водой, голышами сплющили края и водрузили на каменную столешню. Палевая ржа крапила жёсть, края банок словно мыши грызли, но... при буйном воображении... вроде серебряные чары с золотым крапом ублажили стол.

Сели на валёжины, похожие на кости мамонта, омытые дождями, опалённые зноем до серебристого свечения; сгуртились у первобытного стола и не столы пили, сколь языками молотили... благо, без костей... словно цепями снопы колотили, и не доброго зерна намолотили, — напылили: думка чадна, недоумка бедна, а всех тошней пустослов. Обвыклись в университете языками брякать, привадились, полуночники, в общаге лясы точить вечерами и ночами, а уж в застолье, как ныне, хлебом не корми, дай почесать языком.

К худу ли, добру ли, бог весть, но слово за слово, и студенты — вроде ярые интернационалисты, завтрашние коммунисты — вдруг ошутили, что за каменным